

В.И.ДАЛЬ



ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

7

Владимир Иванович Даль

Сказка о Георгии Храбром и о волке

Владимир Иванович Даль

**Сказка о Георгии Храбром и
о волке**

Сказка наша [1] гласит о дивном и древнем
Спобыте времен первородных: о том, что де-
ялось и творилось, когда скот и зверь, рыба и
птица, как переселенцы, первородны и новоз-
данцы, как новички мира нашего, не знали и
не ведали еще толку, ни складу, ни ладу в бы-
ту своем; не обжились еще ни с людьми, ни с
местом, ни с житьем-бытьем, ни сами про-
меж собой, не знали порядка и начальства,
говорили кто по-татарски, кто по-калмыцки и
не добились еще толку, кому и кого глодать и
кому с кем в миру и в ладах односумом жить;
кому с кем знаться или не знаться, кому кого
душить и кого бояться; кому ходить со шку-
рой, а кому без шкуры, кому быть сытым, а
кому голодным.

Серый волк, по-тогдашнему бирюк, обмо-
гавшись натошак голодухою никак сутки
трои, в чаянии фирмана [2], разрешающего и
ему, грешному, скоромный стол, побрел на-
онец на мирскую сходку, где, как прослышал
он мельком от бежавшей оттуда мимо логва
его с цыпленком в зубах лисы, Георгий Храб-
рый правил суд и ряд и чинил расправу на
малого и на великого.

Пришел серый на вече; стал поодаль, поглядел, присел на задние лапы по-собачьи и опять поглядел, прислушался маленько, вздохнул, покачал головой, облизался и повернул оглобли назад. «Тут не добьешься и толку, – подумал он про себя, – крику и шуму довольно; а что дальше – не знаю. Чем затесываться среди белого дня в эту толпу, отару, ватагу, табун, гурт, стаю, стадо – в это шумливое и крикливое стоголосное скопище, где от давки пар валит, от крику пыль стоит, чем туда лезть среди белого дня, так лучше брести восвояси. Я не дурак; хоть и знаю, что и мне, наряду со всеми, сказано: век живи, век учись, а умри дураком; так по крайности до поры до времени, поколе господь терпит грехам моим, поколе смерть сама на меня не нашатнулась, быть дураком не хочу. Нашему брату в сумерки можно залезть промеж других людей, а кабы в темь полуночную, так и подавно; а среди белого дня – *бармоймин*, не пойду». Итак, он пришел домой, залез в трущобу глухую, повалился на бок и стал, щелкая зубами, искать по шубе своей. Настала ночь, и серый смекнул и догадался, что эдак

сыт не будешь. «Совсем *курсах*, пропал, – ворчал он про себя, – животы хоть уздечки вяжи, а *поашать* нечего!» Что станешь делать: вылез из терновника, ожил и освежился маленько, когда резкий северяк пахнул по тулупу его, взбивая мохнатую шерсть, – очи у него загорелись в теми ночной, словно свечи; подняв морду на ветер, пустился он волчьей скачкою по широкому раздолью и вскоре почувал живность. Но, как это была только первая попытка серого промыслить самоучкою кус на свой пай, то он и не разнюхал, на какую поживу, по милости шайтана, наткнулся, а только облизывался, крадучись да приседая, поддернув брови кверху и приподняв уши зубрильцем, и прошептал: «Что-то больно сладкое!»

Он заполз на первый раз в стадо сайгаков; а как и самоучкою удаются ину пору мастера не хуже ученых, а сайгаки сердечные о ту пору были посмирней нынешних овец, то серый наш без хлопот пары две отборных зарезал наповал, словно век в мясниках жил, да еще другим бедняжкам кому колено, кому бедро, а кому и шею выломил. Сайгаки всполоши-

лись, прыснули по полю вправо и влево да подняли тревогу; кто живой да с ногами был, все сбежались, звери и птицы налицо, а рыбы, по неподручности сухопутного перехода, послали от себя послов, трех черепах с черепашками, которые, однако же, уморившись насмерть, к сроку запоздали, а потому дело на сходке обошлось и без них. И с той-то поры, сказывают, рыбы лишены за это навсегда голоса. Видите, что уже и о ту пору был порядок и расправа и вина без наказания не проходила: всякая вина виновата.

Итак, звери сбежались, день проглянул, и серого нашего захватили врасплох уже над последнею четвертью третьего сайгака. Он, знать, себе на уме; думает: запас хорошо, а два лучше, а потому серый наш о ту пору, как и ныне, шутить не любил. Но ему неладно отозвалась эта первая попытка: дело новое, дело непривычное; ныне шкуру снять с сайгака не диковинка; а тогда еще было не то. Звери и птицы все ахнули, на такую беду небывалую глядячи; один только молодой лошак, вчерашнего помету, стоял и глядел на изуродованных собратьев своих, что гусь на вечер-

нюю зарницу. Но мир присудил по-своему: костоправ-медведь осмотрел раненых, повытянул им изломанные шейки да ножки, повыправил измятые суставчики и ворчал про себя, покачивая головой и утираясь во все кулаки: «Неладно эдак-то делать; эдак что же пути будет? Руки-ноги выломил, а которому и вовсе карачун задал – это дело неладно!» Между тем бабы сошлись и стали голосить по покойникам: «Ах ты мой такой-сякой, сизой орел, ясный сокол! На кого ж ты нас, сирот круглых, покинул? А кто ж нам, сердечным, кто нам будет воду возить, кто станет дрова рубить? Кто будет нас любить и жаловать, кто холить да миловать, кто хлебом кормить да вином поить?» Наконец принялись люди и за серого: «Кто он, греховодник? Подайте-ка его сюда!» Он бы за тем не очень погнался, что ему на первый раз поиграли в два смычка на кожаном гудке, причем мишка с отборным товарищем исправляли должность ката и, присев на корточки, надев рукавицы и засучив рукава, отсчитали серому честно и добросовестно сто один по приговору, так что на сером тулуп гора-горой вздулся, – а на нем шку-

ра, правда, и не черного соболя, да своя, – ну, это бы, говорю, все ничего, да ему то обидно было, что и вперед не велели таскать сайгаков, а на спрос: «Чем ему кормиться?» – не дали ни ответу, ни привету; кричали только все в голос, чтобы серый не смел ни под каким видом резать да губить живую скотину, чтобы не порывался лучше на кровь да на мясо, а выкинул думку эту из головы. Живи-де смирно, тихо, честно, не обижай никого, так будет лучше. Серый наш, встряхнувшись да оправив на себе сермягу свою, плакал навзрыд, подергивая только плечами, и спрашивал: «Что же прикажете есть, чем быть мне сытым? Я не прошу ведь на каждый день ужина да обеда, да хоть в неделю раз накормите: неужто круглый год скоромного куска в рот не брать?» Но никто на это ему не отвечал, и сходка по окончании *секуции* на том и кончилась; каждый побрел восвояси, разговаривая с дружкой и вслух подсмеиваясь над серым, приятелем нашим, который сидел подгорюнившись, как богатырь недотыка, поджав хвост и повесив голову, и глядел на недоглоданные копытца, рожки и косточки.

По этой мирской сходке видим мы, что Георгий Храбрый, набольший всем зверям, скотине, птице, рыбе и всякому животному, успел уже постановить кой-какой распорядок, указал расправу, расписал и порядил заплечных мастеров, волостных голов, писарей, сотских и десятских – словом, сделал все, как быть следно и должно.

«Эдак неладно, – сказал серый, покачивая головой на повислой шее, – совсем *яман булыр*, будет плохо. Да на что же меня, грешного, с этими зубами на свет посадили?» Сам вздохнул, отряхнулся и пошел спросить об этом Георгия Храброго: «Пусть-де сам положит какое ни есть решение, ему должно быть известно об этом; пусть укажет мне, чье мясо, чьи кости глодать, а травы я себе по зубам не подберу».

«Георгий! – сказал он, присев перед витязем и наклонив униженно неповоротливую, да покорную шею свою. – Георгий, пришла мая твая просить, дело наша вот какой: мая ашать нада, *курсак* совсем пропал, а никто не дает; на что же, – продолжал он, – дал ты мне зубы, да когти, да пасть широкую, на что их

дал мне, и еще вдобавок большой мясной кур-сак, укладистое брюхо? Ему порожний жить не можно; прикажи ты меня, Георгий, накормить да напоить; не то возьми да девай куда знаешь; мне, признаться, что впредь будет, а поколе житье не находка. Я вчера наелся, Георгий, и теперь до четверга потерпеть можно; а там, воля твоя, прикажи меня кормить!».

Георгий Храбрый был о ту пору занят делами по управлению новорожденного разношерстного народа своего и войска, и Георгию было не до волка. Большак поморщился и отправил его к сотнику: «Ступай, братец, к туру гнедому, он тебя накормит». – «Ну вот эдак бы давно, – сказал серый, вскочил и побежал весело в ту сторону, где паслось большое стадо рогатого скота. – Я бы вчера и не подумал таскать сайгаков самоуправством, коли б кто посулил мне говядинки: *куй-иты*, *сухыр-иты*, баранина ль, говядина ль, по мне все равно, был бы только, как калмыки говорят, *махан*, мясное».

Он подошел к быку туриному и просил, по словесному приказанию Георгия Храброго, сделать какой там следовать будет распоря-

док, как говорится в приказной строке, об утолении законного голода его. «Стань вот здесь, – сказал бык, – да повернись ко мне боком». Серый стал. Бык, задрвав хвост и выкатив бельмы, разогнался, подхватил его рогами и махнул через себя. «Сыт, что ли?» – спросил он, когда серый наш, перевернувшись на лету раза три через хвост и голову, грянулся об землю навзничь крестцом. У серого отнялся язык; он вскочил и поплелся без оглядки, приседая всем задом, как разбитая старуха на костылях. У быка на каждом рогу осталось по клоку шерсти, не меньше литовского колтуна.

Серый добрел кой-как до логва своего, прилег и лежал, обмогался да облизывался трое суток, и то насилу отдохнул. Обругав мошенником и быка и Георгия, пошел он, однако же, опять искать суда и расправы.

«Ну, дядя Георгий, – сказал он, заставши этого опять за делом, – спасибо тебе! Я после закуски твоей насилу выходился!» – «А что, – спросил Георгий, – нешто бык не дает хлеба?» – «Какого хлеба? – отозвался серый. – Бойся бога, дядя; у нас, когда вставлял ты мне эту

скулу да эти зубы, у нас был, кажись, уговор не на хлеб, а на мясное!» – «Ну а что ж, бык не дает?» – «Да, не дает!» – «Ну, – продолжал Георгий, – ступай же ты к *тарпану*, к лошади, она даст». Сам ушел в свои покои и покинул бедняка.

Серый оглянулся; косячок пасется за ним недалечко. Он подошел, да не успел и заикнуться, не только скромное слово вымолвить, как жеребец, наострив уши, заржал, на скакал на него и, не выждав от серого ни «здравствуй», ни «прощай», махнул по нему, здорово живешь, задними ногами; да так, слышь, что кабы тот не успел присесть да увернуться, так, может быть, не стал бы больше докучать Георгию своими зубами; еще, спасибо, не кован был жеребец о ту пору, а то беда бы. Серый мой взвыл навзрыд, закричал благим матом, подбежал тут же к Георгию Храброму и бил челом неотступно, чтобы сам поглядел, как народ с ним, с серым, обходится, да сам бы уж и приказал туру или гнедому, тарпану ли его накормить. «Видишь, – говорил он, – видишь, что сделал со мной жеребец этот при тебе, в глазах твоих и при ясном ли-

це твоём; благо, что сам ты видел, а то бы, чай, опять не поверил!» Георгий осерчал на серого, что больно докучает, не даёт покою.

«Все люди как люди, – говорил он, – один ты шайтан; пристаёт, что с ножом к горлу, подай да подай; поди, говорят тебе, да попроси из чести, смирно, чинно; да не ходи эдаким сорванцом, забиякою; погляди-ка на себя, на кого ты похож? Чего косишься исподлобья да свинкой в землю глядишь? Вишь, тулуп взбит, колтуны с него висят, рыло подбито, сущий разбойник; не мудрено, что тебя и чествуют по заслугам. Нешто люди эдак ходят? Поди к архару, к дикому барану, да попроси честью, так он накормит тебя, да и отвяжись от меня, не приставай, что больной к подлекарю».

Серый пошел, прежде всего скупался, постянул зубами с шубы своей сухари да колышки, встряхнулся, прибрался, умылся, расчесался и отправился, облизываясь уже наперед, к архару, к барану. Этот, поглядев на нашего щеголя и наслушавшись сладких речей его, попросил стать над крутым оврагом, задом в чистое поле. Волк стал, повесил хвост и

голову, наострил ухо и распустил губы; баран разогнался позадь его, ударил по нем костяным лбом, что тараном в стену; волк наш полетел под гору в овраг и упал замертво, на дно глубокой пропасти. У него в глазах засемерило, позеленело, заиграли мурашки, голова пошла кругом, что жернов на поставе, в ушах зазвенело и на сердце что-то налегло горой каменной: тяжело и душно. Он лежал тут до ночи, очнувшись просидел да прокашлял до рассвета, а заутре во весь день еще шатался по оврагу, словно не на своих ногах либо угорелый. Как он тужил, как он охал, как бранился и плакал, и клял божий свет, и жалобно завывал, и глаза утирал, как наконец вылез, отдохнул и опять-таки поплелся к отцу-командиру, к храброму Георгию, – всего этого пересказывать не для чего, довольно того, что Георгий послал его к кабану, да и тот добром не дался, а испортил серому шубу и распорол клыком бок. Серый, как истый мученик первобытных и первородных времен, когда не было еще ни настоящего устройства, ни порядка, хоть были уже разные чиновники, сотские, тысяцкие и волостные, – серый со

смирением и кротостью коренных и первоначальных веков зализал кой-как рану свою и пошел опять к Георгию, с тем однако же, чтобы съесть его и самого, коли-де и теперь не учинит суда и расправы и не разрешит скромного стола. «Еще и грамоты не знают, – подумал серый про себя, – и переписка не завелась, а какие крючки да проволочки по словесной расправе выкидывают! Ну, а что бы еще было; кабы далось им это письмо?»

Серый пошел и попал в добрый час; Георгий Храбрый был и весел, и в духе, и на безделье; он посмеялся, пошутил, потрепал старого по тулупу и приказал ему идти к человеку. «Поди, – говорил он, – поди в соседний пригород и попроси там у добрых людей насущного ломтя; проси честно, да кланяйся и не скаль зубов, не щетинь шерсти по хребту, да не гляди таким зверем». – «Ох, дядя, – отвечал волк, – мне ли щетиниться! Опаршивел я, чай, с голоду, так и шерсть на мне встала; бог тебе судья, коли еще обманешь!» – «Поди же, поди, – молвил опять Георгий, – люди – народ добрый, сердобольный и смышленный, они не только накормят тебя и напоят, а научат еще,

как и где и чего промышлять вперед».

Серый на чужом пиру с похмелья, веселого послушав, да не весел стал. Ему что-то уж плохо верилось; боялся он, чтобы краснобай Георгий опять его не надул, да уж делать было нечего: голод морит, по свету гонит; хлеб за брюхом не ходит: видно, брюху идти за хлебом.

Добежав до пригорода, серый увидел много народу и большие белокаменные палаты. Голодай наш махнул, не думав, не гадав, через первый встречный забор, вбежал в первые двери и, застав там в большой избе много рабочего народу, оробел и струсил было сначала, да уж потом, как деваться было ему некуда, а голод знай поет свое да свое, серый пустился на авось: он доложил служивым вежливо и учтиво, в чем дело и зачем он пришел; сказал, что он ныне по такому-то делу стал на свете без вины виноват; что и рад бы не грешить, да курсак донимает; что Георгий Храбрый водил его о сю пору в дураках, да наконец смиловался, видно, над ним и велел идти к людям, смышленому, сердобольному и многоискусному роду, и просить помощи, на-

уки, ума и подмоги. Он все это говорил по-своему, по-татарски, а случившийся тут рядовой из казанских татар переводил товарищам своим слова нежданного гостя. Волк попал не на псарню и не в овчарню; он просто затесался в казармы, на полковой двор, и, перескочив через забор, забежал прямо в швальню. Служивые художники его обступили; хохот, смех, шум и крик оглушили бедняка нашего до того, что он, оробевши, поджал хвост и почтительно присел среди обступившей толпы. Сам закройщик, кинув работу, подошел слушать краснобая нового разбора и помирал со смеху, на него глядя. Наконец все ребята присудили одного из своих, кривого Тараса, который состоял при полку для ради шутовской рожи своей, с чином зауряд-дурачка, присудили его волку на снесь, на потраву, и начали с хохотом уськать да улюлюкать, притравливая волка на Тараску. Но серый наш не любил, да и не умел шутить: он зверем лютым кинулся на кривого зауряд-чиновника, который только что успел прикрыться от него локтем, и ухватил его за ворот. Ребята с перепугу вскочили на столы да на прилавки, а за-

кройщик, как помолодцеватее прочих, на печь; и бедный Тараска за шутку ледащих товарищей своих чуть не поплатился малоумною головушкой своей. Он взмолился, однако же, серому из-под него и просил пощады. «Много ли тебе прибудет, – говорил он, – коли ты меня теперь съешь? Не говоря уже о том, что во мне, кроме костей да сухожилья, ничего нет, да долго ли ты мною сыт будешь? Сутки, а много-много что двое; да коли и с казенной амуницией совсем проглотишь, так будет не подавишься, и то не боле как на три дня тебе станет; пусти-ка ты лучше меня, так я тебя научу, как подобру-поздорову изо дня в день поживляться можно; я сделаю из тебя такого молодца, что любо да два, что всякая живность и скоромь сама тебе на *курса*к пойдет, только рот разевай пошире!».

«За этим дело не станет, – подумал волк, – только бы ты правду говорил. Пожалуй; господь с тобой, я за этим и пришел, чтобы вас честно просить принять меня по этой части в науку; закройщиком быть не хочу, да я знаю, что вы не в одни постные дни сыты и святы бываете, а обижать я и сам не хочу никого».

Тараска кривой отмотал иглу на лацкане, побежал да принес собачью шкуру и зашил в нее бедного волка. Вот каким похождением на волке проявилась шкура собачья; каков же он до этого случая был собою – не знаем, а сказывают, что был страшный.

«Вот тебе и вся недолга, – сказал Тараска, закрепив и откусивши нитку, – вот тебе совсем Максим и шапка с ним! Теперь ты не чуело и не пугало, а молодец хоть куда; теперь никто тебя не станет бояться, малый и великий будут с тобой запанибрата жить, а выйдешь в лес да разинешь пасть свою пошире, так не токма глухарь – баран целиком и живьем полезет!» – «Не тесно ли будет?» – спросил серый, пожимаясь в новом кафтане своем. «Нет, брат, ныне, вишь, пошла мода на такой фасон, – отвечал Тараска косой, – шьют в обтяжку и с перехватом, только бы полки врознь не расходились, а на тебя я потрафил, кажись, как раз рихтиг [3]; угадал молодецки и пригнал на щипок, оглянись хоть сам!» Серый наш уж хотел было сказать: «Спасибо», – да оглянулся, ан господа портные соскочили с печи да с прилавок, сперва смех да хохот, а

там уж говорят: «Да чего ж мы стоим, ребята? Валяй его!» И, ухвативши кому что попало, кинулись все и давай душить серого в чужом нагольном тулупе; а этому, сердечному, ни управиться, ни повернуться, ни расходиться: сзади стянут, спереди стянут, посередке перехвачен; пустился бедняга без оглядки в степь и рад-рад, что кой-как уплелся да ушел, хоть и с помятыми боками, да по крайности с головой; а что попал из рядна в рогожу, догадаться он догадался, да уж поздно. Он стал теперь ни зверем, ни собакой; спеси да храбрости с него посбили, а ремесла не дали; кто посильнее его, кто только сможет, тот его бьет и душит где и чем попало; а ему в чужих шароварах плохая расправа; не догонит часом и барана, а сайгак и *куйрука* понюхать не даст; а что хуже всего – от собак житья нет. Они слышат от него и волчий дух и свой; да так злы на самозванца, что рыщут за ним по горам и по долам, чуют, где бы ни засел, гонят с бела света долой и ходу не дают, грызут да рвут с него тулуп свой, и бедному голодаю нашему, серому, нет ни житья, ни бытья, а пробивается да поколачивается он кой-как, по миру сло-

няясь; то тут, то там урвет скоромный кус ли-
бо клочок – и жив, поколе шкуры где-нибудь не
сымут; да уж зато и сам он теперь к Георгию
Храбромому ни ногой. «Полно, говорит, пой пес-
ни свои про честь да про совесть кому зна-
ешь; водил ты меня, да уж больше не прове-
дешь». Серый никого над собою знать не хо-
чет; всякую веру потерял в начальственную
расправу, а живет записным вором, мошен-
ником и думает про себя: «Проклинал я вас,
кляните ж и вы меня; а на расправу вы меня
до дня Страшного суда не притянете; там что
будет – не знаю, да и знать не хочу; знаю
только, что до того времени с голоду не око-
лею».

С этой-то поры, с этого случая у нашего се-
рого, сказывают, и шея стала кол колом: не
гнется и не ворочается, оттого что затянута в
чужой воротник.

Примечания

Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу, местопребывание Пугача во время осады Оренбурга. (*Прим, автора.*)

[^^^]

Фирман – указ. В журнальном тексте: *фетва*, то есть приговор, решение (в области дел, связанных с религией).

[^^^]

3

Рихтиг – в меру, впору, в самый раз.

[^^^]